

Глава 2. Мягкость наказаний

Искусство наказывать должно основываться, стало быть, на целой технологии представления. Такое предприятие может быть успешным только в том случае, если составляет часть некой естественной механики. «Подобно силе притяжения, тайная сила вечно влечет нас к нашему благополучию. На этот импульс воздействуют лишь препятствия, воздвигаемые законами. Все поступки человека вытекают из этой внутренней склонности». Подобрать надлежащее наказание для преступления – значит найти невыгоду, мысль о которой лишает мысль о преступлении всякой привлекательности. Искусство сталкивающихся энергий, искусство ассоциативно связанных образов, создание устойчивых связей, не боящихся времени: надо образовывать пары представлений с противоположными значениями, устанавливать количественные различия между действующими силами, вводить игру знаков-препятствий, которые могут подчинить движение сил отношению власти. «Пусть мысль о жестокой публичной казни вечно живет в сердце слабого человека и преобладает над чувством, толкающим его на преступление»[191]. Знаки-препятствия должны образовывать новый арсенал наказаний, подобно тому как раньше карательные знаки организовывали вокруг себя публичные казни. Но для того чтобы действовать, они должны удовлетворять нескольким условиям.

1

Они должны быть как можно менее произвольными. Правда, само общество определяет, исходя из собственных интересов, что должно расцениваться как преступление: преступление не есть нечто «природное». Но, чтобы наказание представлялось уму при первой же мысли о преступлении, нужна как можно более непосредственная связь между наказанием и преступлением: связь по сходству, аналогии, смежности. Надо, «насколько возможно, привести наказание в соответствие с природой преступления, чтобы страх перед наказанием уводил сознание с пути, на который его толкает перспектива извлечь выгоду из преступления»[192]. Идеальное наказание должно отражать преступление, за которое оно карает; таким образом, для всякого размышляющего о наказании оно неминуемо будет знаком данного преступления; а перед тем, кто грезит о преступлении, тотчас предстанет знак наказания. Утвердится устойчивая связь, расчет соотношения между преступлением и наказанием и количественная оценка интересов; кроме того, наказание, принимая форму естественного следствия, не будет казаться проявлением произвола человеческой власти: «Выводить преступление из наказания – лучший способ соразмерить наказание с преступлением. В этом торжество правосудия, но и торжество свободы, поскольку наказания проистекают уже не из воли законодателя, а из природы вещей; здесь нет уже насилия человека над человеком»[193]. В наказании, которое аналогично преступлению, карающая власть действует незаметно.

Реформаторы предложили целую коллекцию наказаний, институционально естественных и по форме напоминающих состав преступления. Возьмем, например, Вермея: тех, кто посягает на свободу общества, надо лишать личной свободы; злоупотребляющие преимуществами вами, предоставляемыми законом, и привилегиями, обеспечиваемыми государственной службой, должны быть лишены гражданских прав; взяточничество и ростовщичество должны караться штрафом, кража – конфискацией имущества, «тщеславие» – позором; убийство наказывается смертью, поджог – сожжением. Отравителю «палач поднесет кубок и выплеснет содержимое в лицо, дабы заставить его осознать чудовищность совершенного злодеяния, воскресив перед ним картину преступления; засим палач бросит его в котел с кипящей водой»[194]. Просто мечтания? Возможно. Но принцип символической связи четко сформулировал уже Ле Пелетье, когда в 1791 г. представил Конституанте новое уголовное законодательство: «Необходимо четкое соотношение между природой преступления и природой наказания»; преступник, прибегший к насилию, должен подвергнуться физическим страданиям, лодырь – изнурительному труду, подлый – бесчестью[195].

Несмотря на жестокости, весьма напоминающие пытки и казни королевского режима, в наказаниях, как бы повторяющих преступления, действует совсем другой механизм. Зверство не противопоставляется зверству в поединке власти; это уже не симметрия мщения, а прозрачность знака относительно того, что он означает; на театре наказаний требуется установить отношение, которое непосредственно понятно чувствам и может служить основанием для простого расчета: своего рода разумная эстетика наказания. «Не только в изящных искусствах надлежит точно следовать природе. Политические институты, по крайней мере те, коим свойственны мудрость и долговечность, основываются на природе»[196].

Наказание должно вытекать из преступления, закон – восприниматься как необходимый порядок вещей, а власть – действовать, прикрываясь мягкой силой природы.

2

Этот набор знаков должен накладываться на механику сил: уменьшать желание, делающее преступление привлекательным; усиливать интерес, заставляющий бояться наказания; изменять соотношение интенсивностей, так чтобы представление о наказании и связанных с ним невыгодах было более живым, чем представление о преступлении и связанных с ним удовольствиях. Словом, здесь целая механика интереса, его движения, способа, каким человек его себе представляет, и живости этого представления. «Законодатель должен быть искусным зодчим, который умеет использовать все силы, способствующие прочности здания, и ослаблять все силы, что могут его разрушить»[197]. Ряд средств. «Идти прямо к истокам зла»[198]. Сломать побудительный мотив, что питает представление о преступлении. Ослабить вызвавший его интерес. За преступлениями, порождаемыми бродяжничеством, стоит лень – с ней и надо бороться. «Нельзя добиться успеха, сажая нищих в смрадные тюрьмы, больше похожие на клоаки»; надо принуждать их к труду. «Лучший способ наказать их – заставить работать»[199]. Против дурного пристрастия – хорошая привычка, против одной силы – другая сила, но сила чувствительности и страсти, а не вооруженной власти. «Не следует ли выводить все наказания из этого принципа, который

столь прост, столь уместен и уже хорошо известен, – выбирать их из того, что наилучшим образом подавляет намерение, приведшее к совершённомu преступлению?»[200]

Повернуть силу, побудившую преступника к преступлению, против нее самой. Разделить интерес, использовать его, с тем чтобы наказание стало внушать страх. Пусть наказание раздражает и стимулирует больше, чем преступление прельщает. Если к преступлению привело самолюбие – надо ранить самолюбие, превратить его в наказание. Бесчестящие наказания эффективны, потому что направлены против самого корня преступления – тщеславия. Фанатики кичатся и своими убеждениями, и пытками, которые претерпевают. Поэтому надо направить против фанатизма питающее его надменное упрямство: «Уничтожить его осмеянием и позором; если наказание состоит в унижении высокомерного тщеславия фанатиков перед большой толпой, можно ожидать прекрасных результатов». Было бы совершенно бесполезно, с другой стороны, подвергать их физическим страданиям[201].

Оживить полезный и добродетельный интерес, столь ослабленный преступлением. Чувство уважения к собственности – к богатству, но также уважение к чести, свободе и жизни: вот что теряет преступник, когда крадет, клеветает, похищает или убивает. Значит, надо снова научить его этому чувству. И его начинают учить ради его же блага; ему показывают, что значит потерять свободу распоряжаться своим имуществом, честью, временем и телом, чтобы он уважал ее у других[202]. Наказание, формирующее устойчивые и легко читаемые знаки, должно также пересоставить экономию интересов и динамику страстей.

3

Отсюда полезность модуляции наказания во времени. Наказание преобразует, изменяет, устанавливает знаки, ставит преграды. Полезно ли наказание, остающееся неизменным и постоянным? Наказание, не имеющее конца, было бы противоречивым: все ограничения, которые предписываются осужденному и из которых он, став добродетельным, не сможет извлечь пользу, будут лишь пыткой; и усилия, направленные на его перевоспитание, обернутся для общества напрасным беспокойством и пустыми тратами. Если есть неисправимые, надо иметь решимость их уничтожить. Но по отношению к остальным наказание действительно только в том случае, если имеет конец. С таким анализом согласились участники Конституанты: кодекс 1791 г. предусматривает смертную казнь для предателей и убийц; все другие наказания должны ограничиваться определенным сроком (и продолжаться не более двадцати лет).

Что главное, роль длительности должна быть неотделима от экономии наказания. В самой своей жестокости публичные казни имели тенденцию к следующему результату: чем серьезнее преступление, тем короче наказание. Длительность играла определенную роль и в прежней системе наказания: дни у позорного столба, годы изгнания, часы умирания на колесе. Но то было время испытания, а не продуманного преобразования. Теперь длительность должна способствовать надлежащему воздействию наказания: «Продолжительная последовательность болезненных лишений, избавляющая человечество от ужаса пытки, воздействует на виновного гораздо сильнее, чем преходящее мгновение боли... Она постоянно напоминает людям, на чьих глазах длится, о законах мщения и

оживляет в каждом мгновения целительного страха»[203]. Время, оператор наказания.

Но хрупкая механика страстей не должна сдерживаться прежним образом и с той же настойчивостью, когда страсти начинают преобразовываться. Наказание должно смягчаться по мере достижения результатов. Наказание вполне может быть фиксированным, т. е. определенным в соответствии с законом и равным для всех, но его внутренний механизм должен быть изменяемым. В законопроекте для Конституанты Ле Пелетье предложил систему убывающих наказаний: приговоренный к самому тяжелому наказанию должен находиться в карцере (с цепями на руках и ногах, в темноте и одиночестве, на хлебе и воде) только на первой стадии заключения; ему должно быть позволено работать сначала два, а потом три дня в неделю. По отбывании двух третей предписанного срока можно перевести его на режим «стесненности» (освещенная клетка, цепь на поясе, работа в течение пяти дней в полном одиночестве, остальные два дня – вместе с другими заключенными; работа должна оплачиваться, чтобы он мог улучшить свой ежедневный рацион). Приближаясь к концу срока, заключенный может перейти на тюремный режим: «Он каждый день встречается с другими заключенными для совместной работы, а если хочет – то работает в одиночестве. Рацион зависит от труда»[204].

4

Для осужденного наказание есть механика знаков, интересов и длительности. Но виновный – лишь одна из мишеней наказания. Ведь наказание направлено главным образом на других, на всех потенциально виновных.

Знаки-препятствия, постепенно запечатлеваемые в представлении об осужденном, должны циркулировать быстро и широко; они должны усваиваться и перераспределяться всеми; они должны формировать дискурс, в котором каждый сообщает со всем миром и запрещает преступление, они – настоящая монета, заменяющая в умах людей ложные выгоды от преступления.

Каждый должен расценивать наказание не только как естественное, но и как соответствующее своим интересам; видеть в нем свою выгоду. Довольно зрелищных, но бесполезных наказаний. Довольно тайных наказаний. Наказание должно рассматриваться как вознаграждение, которое виновный выплачивает каждому из сограждан за преступление, нанесшее ущерб всем им. Наказания должны «без конца воспроизводиться перед глазами граждан» и «выявлять общественную полезность общих и индивидуальных действий»[205]. В идеале осужденный предстает своего рода рентабельной собственностью: работником на службе у всех. Зачем обществу уничтожать жизнь и тело, которые оно может присвоить? Полезнее заставить его «служить государству, отбывая рабство, более или менее длительное в зависимости от характера преступления». Во Франции множество непроезжих дорог, препятствующих торговле; воры, которые тоже мешают свободной циркуляции товаров, могут заняться постройкой больших дорог. Куда красноречивее смерти «пример человека, который всегда перед глазами, лишен свободы и вынужден употребить остаток дней своих на возмещение вреда, нанесенного им обществу»[206].

При старом режиме тело осужденного становилось собственностью короля, монарх ставил на нем свое клеймо и обрушивал на него всю мощь своей власти. Теперь осужденный должен быть скорее общественной собственностью, предметом коллективного и полезного присвоения. Вот почему реформаторы почти всегда предлагали общественные работы как одно из лучших наказаний. Их поддержали в этом указы третьего сословия: «Пусть приговоренные к наказанию (за исключением смертного) осуждаются на общественные работы ради блага страны и на срок, пропорциональный совершенному преступлению»[207]. Общественные работы означали две вещи: коллективную заинтересованность в наказании осужденного и зримый, контролируемый характер наказания. Таким образом, виновный платит дважды: выполняемой работой и производимыми знаками. В сердце общества, на площадях или больших дорогах, осужденный образует средоточие выгоды и значения. Очевидно, что он служит каждому, но вместе с тем внедряет в сознание всех граждан знак преступления – наказания: вторая, чисто моральная, но гораздо более реальная полезность.

5

Отсюда – вся искусная экономия публичности. В пытке и казни основой примера является устрашение: физический ужас, коллективный страх, образы, отпечатывающиеся в памяти зрителей, словно клеймо на щеке или плече осужденного. Теперь основание примера – урок, дискурс, расшифровываемый знак, явление и картина общественной нравственности. Отныне церемония наказания будет подкрепляться не устрашающим воспроизведением власти монарха, а восстановлением уголовного кодекса, коллективным упрочением связи между мыслью о преступлении и мыслью о наказании. В наказании уже не надо усматривать присутствие монарха, в нем следует видеть сами законы. Законы связывают конкретное преступление с конкретным наказанием. За совершением преступления немедленно следует наказание, вводя в действие дискурс закона и показывая, что кодекс связывает не только мысли, но и реальности. Связь, непосредственная в тексте, должна быть непосредственной и в действиях. «Вспомните первые моменты, когда весть об ужасном деянии облетает наши города и села: рядом с гражданами словно ударила молния; все охвачены негодованием и ужасом... Это самый подходящий момент для наказания: не дайте преступлению остаться безнаказанным, поторопитесь уличить и осудить преступника. Возводите плахи, разжигайте костры, волочите виновного по площадям, созывайте людей громкими криками. Тогда они станут рукоплескать вашим приговорам, как провозглашению мира и свободы. Вы увидите, что они сбегутся на ужасные зрелища, ожидая присутствовать при торжестве законов»[208]. Публичное наказание есть церемония мгновенного раскодирования.

Закон перестраивается, он возвращается на свое место со стороны преступления, которое его нарушило. Злоумышленник, напротив, отделяется от общества. Он уходит. Но не в тех двусмысленных празднествах королевского строя, где народ неизбежно участвовал как преступник или зритель, а в скорбной церемонии. Общество, вновь обретшее свои законы, теряет гражданина, который их нарушил. Публичное наказание должно обнаруживать двойную беду: нарушение законов и необходимость расстаться с одним из граждан. «Свяжите с публичной казнью самую грустную и самую трогательную церемонию; пусть сей ужасный день будет днем траура для всего отечества; пусть общая скорбь отпечатается повсюду аршинными буквами... Пусть судья с траурным крепом, облаченный в черное,

объявит народу о посягательстве и печальной необходимости законной мести. Пусть сцены этой трагедии всколыхнут все чувства, все нежные и достойные привязанности»[209].

Смысл траура должен быть ясен всем. Каждый элемент ритуала должен говорить, рассказывать о преступлении, напоминать о законе, показывать необходимость наказания и обосновывать его меру. Плакаты, объявления, знаки, символы должны распространяться в больших количествах, чтобы каждый мог уяснить их значение. Публичность наказания не должна иметь своим физическим последствием устрашение; она призвана открыть книгу для чтения. Ле Пелетье полагал, что раз в месяц люди должны иметь возможность посетить осужденных «в их жалком застенке: тогда они смогут прочесть начертанные большими буквами над дверью имя виновного, описание его преступления и приговор»[210]. И несколько лет спустя Бексон[211] нарисует настоящий герб карающего правосудия в наивном военном стиле имперских церемоний: «Осужденного на смерть доставят на плаху в телеге, “затянутой черно-красной материей или выкрашенной в эти цвета”. Предатель будет облачен в красную рубаху с начертанным спереди и сзади словом “предатель”. На голову отцеубийцы накинута черное покрывало, на рубахе вышьют кинжал или орудие убийства. Красная рубаха отравителя будет расписана змеями и другими ядовитыми тварями»[212].

Этот доходчивый урок, это ритуальное раскодирование надо повторять как можно чаще. Пусть наказания будут скорее школой, чем празднеством, скорее вечно открытой книгой, нежели церемонией. Длительность, делающая наказание эффективным для виновного, полезна и для зрителей. Они должны иметь возможность в любой момент заглянуть в постоянно доступный словарь преступления и наказания. Тайное наказание – наполовину тщетное наказание. Надо позволить детям приходить в места, где отбывают наказание, и постигать там азы гражданственности. А взрослые люди должны периодически вновь изучать законы. Давайте представим места отбывания наказаний как некий Сад законов, куда по воскресеньям приходят семьи. «Я хотел бы, чтобы время от времени, предварительно подготовив умы разумной речью о сохранении общественного порядка, о полезности наказания, юношей да и взрослых водили на рудники, на каторжные работы, где они видели бы ужасную судьбу каторжников. Такие паломничества были бы полезнее тех, что турки совершают в Мекку»[213]. Ле Пелетье считал наглядность наказаний одним из основных принципов нового уголовного кодекса: «Часто, в специально отведенное время присутствие людей должно навлекать позор на головы виновных; а присутствие виновного в том жалком положении, в которое он ввергнут совершенным преступлением, – служить полезным назиданием для человеческих душ»[214].

Задолго до того как преступника стали рассматривать как предмет науки, в нем видели фактор воспитания. Некогда предпринимались благотворительные посещения заключенных с целью разделить их страдания (практика, введенная или перенятая XVII столетием); теперь полагают, что дети, побывав у заключенных, поймут полезность закона применительно к преступлению: получают живой урок в музее порядка.

Это позволит изменить направленность традиционного дискурса преступления. Важная забота составителей законов XVIII столетия: как приглушить сомнительную славу преступников? Как положить конец эпопее великих преступников, прославляемых в альманахах, листках, народных легендах? Если раскодирование наказания осуществлено успешно, если траурная церемония проходит должным образом, то преступление начинает восприниматься как несчастье, а злоумышленник – как враг, которого вновь приучают к жизни в обществе. Вместо тех похвал, что превращают преступника в героя, в дискурсе людей будут обращаться лишь знаки-препятствия, убивающие желание совершить преступление рассчитанным страхом перед наказанием. Эта положительная механика полностью развернется в повседневной речи, которая будет непрерывно укреплять ее новыми рассказами. Дискурс станет проводником закона, постоянным принципом всеобщего раскодирования. Народные поэты наконец примкнут к тем, кто называет себя «миссионерами вечного разума»; они станут моралистами. «Исполненный ужасных образов и спасительных идей, каждый гражданин начнет распространять их в своей семье, и собравшиеся вокруг дети будут ловить его долгие повествования с жадностью, сравнимой лишь с пылом рассказчика, и благодаря им откроют свою юную па мять детальнейшему восприятию понятий о преступлении и наказании, о любви к законам и родине, об уважении и доверии к судебному ведомству. Селяне тоже познакомятся с этими примерами, посеют их вокруг своих хижин; вкус к добродетели пустит корни в их грубых душах, а злоумышленник, встревоженный общественным ликованием и напуганный огромным числом врагов, возможно, откажется от своих замыслов, исход которых столь же скор, сколь гибелен»[215].

Вот как, стало быть, можно представить себе город наказаний. На перекрестках, в садах, на обочинах ремонтируемых дорог и на возводимых мостах, в открытых для всех мастерских, в глубинах рудников, куда можно спуститься, – тысячи маленьких театров наказания. На каждое преступление – свой закон, на каждого преступника – свое наказание. Наказание наглядное, наказание, которое все рассказывает, объясняет, обосновывает себя, убеждает: плакаты, колпаки с надписями, афиши, объявления, символы, тексты – печатные или читаемые вслух – неустанно повторяют кодекс. Декорации, перспективы, оптические эффекты, изображения, создающие иллюзию реальности, иногда преувеличивают сцену, делая ее более страшной, чем она есть, но и более ясной. Оттуда, где располагается публика, можно поверить в некоторые жестокости, в действительности не существующие. Но главное в этих реальных или раздутых строгостях то, что, согласно строгой экономии, все они должны служить уроком: что каждое наказание должно быть апологом. И что одновременно со всеми прямыми образцами добродетели можно в любой момент увидеть, как живую сцену, несчастья порока. Вокруг каждого из моральных «представлений» будут толпиться школяры и учителя, и взрослые узнают, какие уроки преподают их детям. Уже не торжественный наводящий ужас ритуал публичных казней, а развертывающийся изо дня в день и на каждой улице серьезный театр с многочисленными и убедительными сценами. И народная память воспроизведет в молве суровый дискурс закона. Но может быть, над этими бесчисленными зрелищами и повествованиями следовало бы поместить главный знак наказания за самое ужасное преступление: краеугольный камень судебного здания. Во всяком случае, Вермей представил сцену абсолютного наказания, которая должна доминировать над театрами повседневного наказания: единственный случай, когда необходимо стремиться к бесконечности наказания, эквивалент – в новой уголовно-правовой системе – тому, чем было цареубийство в прежней. Виновному выколуют глаза; совершенно

нагим посадят в железную клетку, подвешат в воздухе над центральной площадью; его прикрепят к прутьям клетки железным ремнем, опоясывающим талию; до конца дней своих он будет питаться хлебом и водой. «Он испытает все тяготы, приносимые сменой времен года, голову его покроет снег и опалит обжигающее солнце. Именно в этой жестокой пытке, продолжении скорее мучительной смерти, чем тягостной жизни, можно будет действительно узнать злодея, отданного во власть суровой природе, обреченного никогда не видеть оскорбленных им небес и никогда не жить на оскверненной им земле»[216]. Над карательным городом – железный паук, и преступник, распятый таким образом новым законом, – отцеубийца.

Целый арсенал живописных наказаний. «Избегайте налагать одинаковые наказания», – предостерегал Мабли. Изгнана идея уравнительного наказания, модулируемого только в зависимости от тяжести проступка. Вернее, использование тюрьмы как общая форма наказания никогда не присутствует в этих проектах специфических, зримых и «говорящих» наказаний. Заключение предусматривается, но как одно из наказаний; как особое наказание за определенные правонарушения, которые ущемляют свободу индивида (похищение) или вытекают из злоупотребления свободой (беспорядки, насилие). Оно предусматривается также как условие, позволяющее применить другие наказания (например, каторжные работы). Но оно не покрывает всего поля наказания, поскольку его единственный принцип вариативности – длительность наказания. Точнее говоря, идею заключения как меры наказания открыто критикуют многие реформаторы. Потому что заключение не может учитывать специфику преступлений. Потому что оно не воздействует на публику. Потому что оно бесполезно, даже вредно для общества: дорогостоящее, укрепляет осужденных в праздности, умножает их пороки[217]. Потому что осуществление такого наказания трудно контролировать, и существует опасность бросить заключенных на произвол тюремщиков. Потому что работа, сводящаяся к лишению человека свободы и надзору за ним, – упражнение в тирании. «Вы настаиваете, что среди вас есть чудовища; и если такие мерзавцы существуют, то законодатель должен, пожалуй, рассматривать их как убийц»[218]. Тюрьма в целом несовместима со всей этой технологией наказания – следствия, наказания – представления, наказания – общей функции, наказания – знака и дискурса. Тюрьма – мрак, насилие и подозрение. «Мрачное место, где взгляд гражданина не может сосчитать жертв, а потому число их не может служить примером... Между тем если бы удалось без умножения преступлений добиться большей доходчивости наказаний, то в конце концов удалось бы сделать их менее необходимыми; притом мрак тюрем рождает недоверие у граждан; они с легкостью заключают, что в тюрьмах вершатся большие несправедливости... Что-то явно не так, раз закон, имеющий в виду благо масс, постоянно вызывает ропот, а не благодарность»[219].

К идее о том, что тюремное заключение могло бы, как это происходит сегодня, покрывать срединное пространство между смертной казнью и легкими наказаниями, реформаторы не могли прийти сразу.

Проблема в следующем: в течение очень короткого времени тюремное заключение стало основной формой наказания. В уголовном кодексе 1810 г. различные формы тюремного заключения занимают почти все поле возможных наказаний между смертной казнью и

штрафами. «Что такое система наказания, принятая новым законом? Это тюремное заключение во всех его формах. Действительно, сравните четыре основных наказания, сохраненные в этом уголовном кодексе. Принудительные работы – форма заключения. Каторга – тюрьма на открытом воздухе. Содержание в местах лишения свободы, одиночное заключение, исправительное заключение – в некотором смысле просто различные названия для одного и того же наказания»[220]. Империя сразу решила воплотить в жизнь законосообразное заключение, выстроив для этого целую карательную, административную и географическую иерархическую лестницу: на самой нижней ступени, при каждом мировом судье, – камеры предварительного заключения муниципальной полиции; в каждом округе – тюрьмы; в каждом департаменте – исправительные дома; на самом верху – несколько центральных тюрем для осужденных преступников или тех, кто осужден уголовным судом на срок свыше года; наконец, в некоторых портах – каторжные тюрьмы. Было запланировано огромное тюремное здание, различные ярусы которого должны были в точности соответствовать уровням административной централизации. Эшафот, где тело казнимого преступника предоставлялось ритуально проявляемой силе монарха, и карательный театр, где представление наказания было постоянно доступно общественному телу, были заменены огромным, замкнутым, сложным и иерархизированным сооружением, встроенным в самое тело государственного аппарата. Совершенно другая «материальность», совершенно другая физика власти, совершенно другая манера захватывать тела людей. Во времена Реставрации и Июльской монархии, за исключением некоторых моментов, во французских тюрьмах содержится от 40 до 43 тысяч заключенных (примерно один заключенный на 600 жителей). Высокая стена – уже не та, что окружает и защищает, не та, что символизирует власть и богатство, но предельно замкнутая на себе самой, не проходимая ни в каком направлении, скрывающая отныне таинственную работу наказания – станет почти подручным, находящимся порой в самом центре городов XIX столетия монотонным образом (сразу материальным и символическим) власти наказывать. Уже во время Консулата министра внутренних дел обязали разобраться с тем, какие «надежные места» действуют и какие могут быть использованы как тюрьмы в разных городах. Несколько лет спустя были отпущены средства на постройку новых крепостей гражданского порядка – соответствующих величию власти, которую они должны были выражать и обслуживать. Первая империя использовала их для другой войны[221]. Менее расточительная, но более упорная экономия позволила завершить их строительство на протяжении XIX века.

Во всяком случае, менее чем через двадцать лет столь четко сформулированный Конституантой принцип особых, тщательно подобранных и эффективных наказаний, долженствующих служить уроком для всех, стал законом о тюремном заключении за правонарушения любой степени тяжести, кроме тех, что требовали смертной казни. Театр наказаний, о котором мечтали в XVIII веке и который должен был воздействовать главным образом на умы потенциальных подсудимых, заменили единообразным тюремным аппаратом, раскинувшим сеть массивных тюремных зданий по всей Франции и Европе. Но двадцать лет, пожалуй, слишком большой срок для столь ловкого маневра. Можно сказать, что он осуществился почти мгновенно. Достаточно взглянуть на проект уголовного кодекса, представленный Ле Пелетье. Принцип, сформулированный в начале, устанавливает необходимость «точных соотношений между природой правонарушения и природой наказания»: боль для тех, кто совершил жестокие преступления, труд для лодырей, позор

для падших душ. Но на самом деле предлагаемые суровые наказания сводятся к трем формам заключения: карцер, т. е. заключение, отягчаемое различными мерами (одиночеством, темнотой, ограничениями в пище); «стесненность», где дополнительные меры смягчены; наконец, собственно тюрьма, в сущности – простое заключение. Столь торжественно провозглашенное разнообразие сводится в итоге к единообразному и серому наказанию. И действительно, одно время некоторые депутаты удивлялись тому, что вместо установления естественного соотношения между преступлениями и наказаниями был принят совсем другой план: «Что же, если я предал родину, меня сажают в тюрьму; если я убил отца, меня сажают туда же; все преступления, какие только можно вообразить, наказываются одним и тем же единообразным способом. Так и видится лекарь, предлагающий одно лекарство от всех болезней»[222].

Эта быстрая замена не была привилегией Франции. Она произошла и в других странах. Когда вскоре после публикации трактата «О преступлениях и наказаниях» Екатерина II приказала составить «новое Уложение», урок Беккариа о специфичности и разнообразии наказаний не был забыт; он был повторен почти дословно: «Гражданская вольность тогда торжествует, когда законы на преступников выводят всякое наказание из особого каждому преступлению свойства. Все произвольное в наложении наказания исчезает. Наказание не должно происходить от прихоти законоположника, но от самой вещи; и не человек должен делать насилие человеку, но собственное человека действие»[223]. Несколько лет спустя общие принципы Беккариа легли в основу нового тосканского кодекса и кодекса, данного Австрии Иосифом II. И все же оба этих законодательства сделали тюремное заключение – модулируемое в его длительности и подкрепляемое в некоторых случаях клеймением и кандалами – практически единственным наказанием: минимум тридцать лет тюрьмы за покушение на монарха, за изготовление фальшивых денег и убийство, отягощенное грабежом; от пятнадцати до тридцати лет за преднамеренное убийство и вооруженный грабеж; от одного месяца до пяти лет за простую кражу и т. д.[224]

Но подчинение судебной-правовой системы тюрьме вызывает удивление, поскольку тюрьма не была (хотя сама собой возникает мысль об обратном) наказанием, которое уже прочно закрепилось в системе наказаний непосредственно за смертью и естественно заняло место, освободившееся после прекращения публичных казней. В сущности, тюрьма – и в этом отношении многие страны находились в той же ситуации, что и Франция, – занимала в системе наказаний лишь ограниченное и маргинальное положение. Это доказывают тексты. В Уложении 1670 г. тюремное заключение не указывается среди наказаний по приговору суда. Несомненно, пожизненное или временное тюремное заключение применялось наряду с прочими наказаниями в соответствии с некоторыми местными обычаями[225]. Но утверждали, что оно вышло из употребления, как и другие пытки: «Раньше были наказания, которые уже не практикуются во Франции, например запечатление вины на лице или лбу осужденного и пожизненное тюремное заключение; точно так же преступника уже не приговаривают к растерзанию хищными зверями и не посылают на рудники»[226]. В действительности, однако, тюрьма упорно продолжает существовать как наказание за незначительные правонарушения, применяемое в согласии с местными обычаями и привычками. В этом смысле Сулатж говорил о «легких наказаниях», не упомянутых в Уложении 1670 г.: порицании, выговоре, запрете на проживание в определенном месте,

удовлетворении оскорбленному и временном заключении. В некоторых областях, особенно тех, что в значительной мере сохранили судебный партикуляризм, наказание в форме тюремного заключения было еще широко распространено, но сталкивалось с некоторыми трудностями, как в недавно аннексированном Руссийоне[227].

И все же, несмотря на разногласия, юристы твердо придерживались принципа, что «в нашем гражданском праве тюремное заключение не расценивается как наказание»[228]. Роль тюрьмы – удерживать человека и его тело как залог: *ad continendos homines, non ad puniendos*[229] – гласит пословица. С этой точки зрения заключение подозреваемого играет роль, сходную с заключением должника. Посредством тюремного заключения обеспечивают гарантии, а не наказывают[230]. Таков общий принцип. И хотя заключение подчас, и даже в важных случаях, служит наказанием, оно выступает главным образом как замена: заменяет каторгу для тех, кто не может там работать, для женщин, детей, инвалидов: «Приговор к тюремному заключению на какой-то срок или пожизненному равнозначен осуждению на каторжные работы»[231]. В этой равнозначности достаточно четко просматривается возможная смена. Но для того чтобы она произошла, тюрьма должна была изменить свой юридический статус.

Надлежало также преодолеть второе, значительное – по крайней мере для Франции – препятствие. Тюрьму делало негодной для этой роли особенно то, что на практике она была непосредственно связана с королевским произволом и с чрезмерностью монаршей власти. Работные дома, приюты тюремного типа, «королевские приказы» или предписания полицейских лейтенантов, указы короля о заточении без суда и следствия (выхлопотанные нотаблями или родственниками) составляли целую репрессивную практику, которая сосуществовала с «законным правосудием», а чаще противостояла ему. И это «внесудебное» заключение отвергали и классические юристы, и реформаторы. Тюрьма – создание государя, сказал традиционалист Серпийон, прикрываясь авторитетом судьи Буйе: «Хотя монархи по государственным соображениям склоняются иногда к применению такого наказания, обычное правосудие к нему не прибегает»[232]. Реформаторы очень часто характеризуют тюремное заключение как образ и излюбленное орудие деспотизма: «Что сказать о тех тайных тюрьмах, что порождены в воображении пагубным духом монархизма и предназначены главным образом для философов, в чьи руки природа вложила факел и кои осмелились осветить свою эпоху, либо для благородных и независимых душ, коим недостает трусости умолчать о бедствиях своей родины, – о тюрьмах, мрачные двери которых распахиваются таинственными указами и навеки проглатывают несчастных жертв? Что сказать о самих указах, шедеврах изощренной тирании, что уничтожают принадлежащую каждому гражданину привилегию быть выслушанным до вынесения приговора? Они в тысячу раз опаснее для людей, чем изобретение Фалариса[233]...»[234]

Несомненно, эти протесты, исходящие от людей со столь различными взглядами, направлены не против заключения как законного наказания, а против «незаконного» применения самочинного, неопределенного по сроку заключения. Тем не менее тюрьма всегда воспринималась, вообще говоря, как запятнанная злоупотреблениями властью. Многие наказы третьего сословия отвергают тюрьму как несовместимую с нормальным правосудием. Иногда во имя классических юридических принципов: «Тюрьмы предназначались законом не для наказания, а для содержания под арестом...»[235] Иногда

из-за последствий заключения, карающего тех, кто еще не осужден, передающего и распространяющего зло, которое оно должно предупреждать, наказывающего всю семью и тем самым противоречащего принципу «адресности» наказаний; говорят, что «тюрьма не есть наказание. Человеколюбие восстает против ужасной мысли, что лишить гражданина самого драгоценного, опозорить его, погрузив в преступную среду, оторвать его от всего, что ему дорого, а то и раздавить, лишить всех средств к существованию не только его самого, но и его семью, – это не наказание»[236]. Депутаты неоднократно требуют отмены домов заключения: «Мы считаем, что дома заключения должны быть стерты с лица земли...»[237] И действительно, декрет от 13 марта 1790 г. постановляет освободить «всех лиц, содержащихся в заключении в крепостях, монастырях, работных домах, полицейских тюрьмах и всех прочих тюрьмах по королевским указам или по приказам представителей исполнительной власти».

Каким образом тюремное заключение, совершенно явно связанное с противозаконностью, избобличаемой даже во власти монарха, так быстро стало одной из основных форм законного наказания?

* * *

Наиболее частое объяснение указывает на образование в течение классического века нескольких великих моделей карательного заключения. Их престиж – тем более высокий, что самые последние из них пришли из Англии и особенно из Америки, – будто бы позволил преодолеть двойное препятствие: вековые правила юстиции и деспотическую сторону действия тюрьмы. Очень быстро, кажется, эти препятствия были сметены карательными чудесами, захватившими воображение реформаторов, и заключение стало серьезной реальностью. Важность этих моделей не вызывает сомнения. Но сами они, прежде чем обеспечить решение, ставят проблемы: проблемы, связанные с их существованием и распространением. Как могли они зародиться и, главное, быть приняты столь повсеместно? Ведь легко доказать, что, хотя в некоторых отношениях эти модели соответствуют основным принципам уголовной реформы, во многих других отношениях они абсолютно разнородны и даже несовместимы.

Старейшая из моделей, которая, как принято считать, в той или иной мере вдохновила все остальные, – амстердамский Распхёйс, открытый в 1596 г.[238] Первоначально он предназначался для нищих и малолетних злоумышленников. Он действовал в соответствии с тремя основными принципами. Срок наказаний – по крайней мере в известных рамках – мог определяться администрацией сообразно с поведением заключенного; такая свобода действий администрации иногда предусматривалась самим приговором: в 1597 г. одного заключенного приговорили к двенадцати годам тюрьмы, но в случае его удовлетворительного поведения срок мог быть сокращен до восьми лет. Предусматривался обязательный труд, работали вместе с другими заключенными (одиночные камеры использовались лишь в качестве дополнительного наказания; заключенные спали по двое-трое на одной койке, в камерах содержалось от 4 до 12 человек); за выполненную работу получали вознаграждение. Наконец, строгий распорядок дня, система запретов и обязанностей, непрерывный надзор, наставления, духовное чтение, целый комплекс

средств, «побуждающих к добру» и «отвращающих от зла», удерживали заключенных в определенных рамках изо дня в день. Можно рассматривать амстердамский Распхёйс как основополагающий образец. Исторически он послужил связующим звеном между столь характерной для XVI века теорией педагогического, духовного преобразования индивидов путем непрерывного упражнения и пенитенциарными техниками, возникшими во второй половине XVIII века. И он задал созданным тогда трем другим институтам основные принципы, которые каждый из них развил в собственном особом направлении.

В работном доме в Генте принудительный труд был организован главным образом на основании экономических принципов. Утверждали, что праздность – основная причина большинства преступлений. Исследование – несомненно, одно из первых – состава приговоренных в пределах юрисдикции Алоста в 1749 г. показало, что преступниками были не «ремесленники или пахари (работяги думают лишь о работе, что их кормит), а лентяи, предавшиеся попрошайничеству»[239]. Отсюда идея дома, который в некотором смысле обеспечил бы применение универсальной трудовой педагогики к тем, кто уклоняется от работы. Такой подход дает четыре преимущества: сокращает число уголовных преследований, дорого обходящихся государству (во Фландрии экономия должна была составить свыше 100 000 ливров); избавляет от необходимости возврата денег, выплачиваемых разоренным бродягами лесовладельцам; создает массу новых работников, которая «благодаря конкуренции способствует снижению стоимости рабочей силы»; наконец, позволяет настоящим беднякам получить максимальную благотворительную помощь[240]. Эта полезная педагогика должна была оживить в лентяе тягу к труду, вернуть его в систему интересов, где работа предпочтительнее лени, образовать вокруг него компактное, упрощенное принудительное сообщество, где действует ясная максима: хочешь жить – трудись. Обязательный труд, но и обязательное денежное вознаграждение, позволяющее заключенному улучшить свою участь во время и после заключения. «Человеку, который не имеет средств к существованию, необходимо внушить желание добыть их с помощью работы, сначала в условиях полицейского надзора и дисциплины. В некотором смысле его заставляют работать. Потом его привлекают заработком. Нравы его улучшаются, возникает привычка к труду, ему не приходится думать о еде, и он бережется к выходу на свободу небольшую сумму», он учится ремеслу, «которое позволит ему не беспокоиться о средствах к существованию»[241]. Перестройка homo oeconomicus исключала применение слишком кратких и слишком долгих наказаний: первые не позволили бы заключенному приобрести навык и вкус к труду, вторые сделали бы обучение ремеслу бессмысленным. «Шести месяцев слишком мало для того, чтобы исправить преступников и вселить в них трудовой дух»; с другой стороны, «пожизненное заключение ввергает в отчаяние; преступники становятся равнодушными к исправлению нравов и духу труда, их ум занимают лишь планы побега и бунта; и раз уж не сочли целесообразным лишить их жизни, зачем же делать ее невыносимой?»[242] Срок наказания имеет смысл лишь в том случае, если возможно перевоспитание и экономическое использование исправившегося преступника.

К принципу труда английская модель добавляет как главное условие исправления изоляцию. Схему задал в 1775 г. Хенуэй, обосновавший ее прежде всего отрицательными доводами: скученность в тюрьме способствует распространению дурных примеров и создает возможность побега в настоящем и шантажа или сообщничества – в будущем. Тюрьма будет слишком похожа на мануфактуру, если позволить заключенным работать вместе. Далее

следовали положительные соображения: изоляция вызывает «страшный шок», который, защищая заключенного от дурных влияний, помогает ему углубиться в себя и вновь услышать в недрах своего сознания голос добра; работа в одиночестве должна быть не только ученичеством, но и обращением; она должна перестраивать не только игру интересов, присущих homo oeconomicus, но и императивы морального субъекта. Одинокaя камера, техника христианского монашества, сохранившаяся лишь в католических странах, становится в этом протестантском обществе инструментом, с помощью которого можно перестроить одновременно и homo oeconomicus, и религиозное сознание. Тюрма должна образовывать «пространство между двумя мирами», между преступлением и возвратом к праву и добродетели; место преобразования индивида, которое вернет его к государству утраченного гражданина. Аппарат для преобразования индивидов, который Хенуэй называет «реформаторием»[243]. Эти общие принципы Говард и Блэкстоун привели в действие в 1779 г., когда независимость Соединенных Штатов положила конец высылкам из Англии и началась подготовка закона для изменения системы исполнения наказаний. Тюремное заключение с целью преобразования души и поведения вошло в систему гражданского права. Преамбула к закону, составленная Блэкстоуном и Говардом, характеризует заключение в его тройной функции – как устрашающего примера, инструмента обращения индивида и условия для обучения ремеслу: подвергнутые «одиночному заключению, регулярному труду и влиянию религиозного наставления», некоторые преступники смогут «не только вселить страх в тех, кто захотел бы последовать их примеру, но и исправиться и приобрести привычку к труду»[244]. Отсюда – решение построить две исправительные тюрьмы, специально для мужчин и для женщин, где изолированные друг от друга заключенные должны выполнять «самые рабские работы, как нельзя лучше соответствующие невежеству, нерадивости и закоснелости преступников»: идти за колесом, запускающим машину, крепить вал, полировать мрамор, трепать пеньку, обдирать рашпилем кампешевое дерево, кромсать ветошь, изготавливать веревки и мешки. В действительности была построена только одна исправительная тюрьма, в Глочестере, и она лишь отчасти отвечала первоначальному плану: одиночное заключение для наиболее опасных преступников, для остальных – совместная работа днем и изоляция ночью.

Наконец, филадельфийская модель. Несомненно, наиболее известная: ведь она воспринималась в связи с политическими нововведениями американской системы и, в отличие от других, не была обречена на немедленный провал и забвение. Ее постоянно критиковали и преобразовывали вплоть до серьезных дискуссий о пенитенциарной реформе в 30-х годах XIX столетия. Во многих отношениях тюрьма Уолнат Стрит, открытая в 1790 г. под непосредственным влиянием квакеров, строилась по модели Гента и Глочестера[245]. Там предусматривались обязательная работа в цехах, постоянная занятость заключенных, финансирование тюрьмы за счет их труда, но и выплата индивидуальных вознаграждений за труд как средство, обеспечивающее возвращение заключенных, в моральном и материальном отношении, в суровый мир экономики; если заключенных «постоянно использовать на производственных работах, они обеспечат оплату тюремных расходов, не будут бездельничать и смогут накопить некоторые средства к моменту окончания срока»[246]. Жизнь расплана в соответствии со строжайшим распорядком дня и протекает под неусыпным надзором; каждый момент дня посвящается определенной конкретной деятельности и несет с собой собственные обязательства и запреты: «Все заключенные встают на рассвете и, застелив койки, умывшись и справив прочие потребности, обычно

начинают работу с восходом солнца. С этого момента никто не может войти в помещения и другие места, за исключением цехов и мест, отведенных для работы... С наступлением сумерек звонит колокол, извещающий об окончании работы... Заключенным дается полчаса, чтобы приготовить постели, после чего не разрешаются громкие разговоры и малейший шум»[247]. Как в Глочестере, одиночное заключение не тотально: оно применяется лишь к отдельным заключенным, которые в былые времена получили бы смертный приговор, и к заключенным, заслужившим особого наказания уже в тюрьме: «Без занятий, без развлечений, без уверенности в скором освобождении», заключенный проводит «долгие тревожные часы наедине с мыслями, посещающими всех виновных»[248]. Наконец, как в Генте, срок заключения может изменяться в зависимости от поведения заключенного: изучив дела, тюремные инспектора получают от властей – до 1820-х годов без особых трудностей – помилования для заключенных, отличившихся хорошим поведением.

Кроме того, тюрьма Уолнат Стрит характеризуется некоторыми чертами, специфическими для нее или по крайней мере развившимися то, что потенциально присутствовало в других моделях. Прежде всего, это принцип неразглашения наказания. Хотя приговор и основания для него должны быть известны всем, наказание должно осуществляться тайно; публика не должна вмешиваться ни как свидетель, ни как гарант наказания; уверенность в том, что за тюремными стенами заключенный отбывает наказание, должна быть достаточным уроком: надо положить конец уличным зрелищам, открытым законом 1786 г., который принуждал некоторых осужденных к общественным работам в городах или на крупных дорогах[249]. Наказание и его исправительное воздействие – процессы, развертывающиеся между заключенным и надзирателями. Эти процессы приводят к преобразованию всего индивида: его тела и привычек – посредством ежедневного принудительного труда, его сознания и воли – благодаря духовному попечению: «Библия и другие книги о жизни в вере всегда под рукой. Священники различных церквей, действующих в городе и окрестностях, служат поочередно по одному разу в неделю, а все другие духовные наставники имеют доступ к заключенным в любое время»[250]. Но это преобразование вверено самой администрации. Одиночества и самоанализа недостаточно; недостаточно и чисто религиозных увещаний. Работа над душой заключенного должна производиться как можно чаще. Тюрьма, являющаяся административным аппаратом, должна быть в то же время машиной по изменению сознания. При поступлении в тюрьму заключенному зачитывают устав. «Вместе с тем инспектора стремятся укоренить в нем моральные обязательства, соответствующие его положению, разъясняют ему, какое правонарушение по отношению к ним он совершил, каким злом оно оказалось для общества, под защитой коего он находится, и необходимость возмещения ущерба примерным поведением и исправлением. Затем они заставляют его обещать с радостью выполнить свой долг и вести себя достойно; они объясняют ему, что при хорошем поведении он может надеяться на освобождение до истечения срока... Время от времени инспектора обязаны беседовать с преступниками об их долге перед людьми и обществом»[251].

Но самое важное, несомненно, то, что условием и следствием этого контроля и преобразования является формирование знания об индивидах. Одновременно с новым заключенным администрация Уолнат Стрит получает отчет о совершённом им преступлении и сопутствовавших обстоятельствах, резюме допроса обвиняемого, сведения о его поведении до и после вынесения приговора: все это необходимо знать, чтобы «определить,

какое лечение и помощь требуются для искоренения его старых привычек»[252]. И на протяжении всего заключения он подвергается наблюдению, его поведение изо дня в день документально фиксируется, и инспектора (в 1795 г. – двенадцать знатных горожан), дважды в неделю по двое посещающие тюрьму, получают информацию о происходящем, осведомляются о поведении каждого заключенного и решают, кто заслуживает ходатайства о снисхождении. Постоянно совершенствуемое знание индивидов позволяет подразделить их в тюрьме не столько по совершённым преступлениям, сколько в соответствии с обнаруженными наклонностями. Тюрьма становится своего рода постоянной обсерваторией, дающей возможность распределить разные пороки или слабости. Начиная с 1797 г. заключенные делились на четыре класса: первый составляли те, кто приговорен к одиночному заключению или совершил серьезные правонарушения в тюрьме; ко второму принадлежали те, кто «хорошо известен как матерый преступник... порочен, опасен, неустойчив в своих склонностях или непредсказуем в поступках» и проявил все эти качества за время пребывания в тюрьме; третий класс включает в себя тех, «чей характер и обстоятельства до и после осуждения заставляют заключить, что они не являются закоренелыми преступниками»; наконец, особое отделение, испытательный класс для тех, чей характер еще не известен, или для тех, кто во всяком случае не заслуживает зачисления в предыдущие категории[253]. Организуется целый корпус индивидуализирующего знания, область значения которого – не столько совершённое преступление (по крайней мере не оно одно), сколько потенциальная опасность, сокрытая в индивиде и проявляющаяся в его наблюдаемом каждодневном поведении. С этой точки зрения тюрьма действует как аппарат познания.

* * *

Между карательным аппаратом, предлагаемым фламандской, английской и американской моделями, между этими «реформаториями» и всеми наказаниями, придуманными реформаторами, имеются точки сходства и различия.

Точки сходства. В первую очередь, налицо изменение временного направления наказания. Задача «реформаториев» также состоит не в том, чтобы изгладить преступление, а в том, чтобы воспрепятствовать его повторению. Это механизмы, направленные в будущее и устроенные так, чтобы исключить повторение злодеяния. «Цель наказаний – не искупление преступления, по справедливости остающееся в воле Всевышнего, но предупреждение правонарушений того же рода»[254]. В Пенсильвании Бакстон заявил, что принципы Монтескье и Беккариа должны иметь отныне «силу аксиом», что «предупреждение преступлений – единственная цель наказания»[255]. Итак, наказывают не для того, чтобы было искуплено преступление, а для того, чтобы преобразовать преступника (реального или потенциального); наказание должно быть сопряжено с определенной исправительной техникой. В этом отношении к юристам-реформаторам близок Раш – если, конечно, следующие его слова лишены метафорического смысла: люди изобрели машины, облегчающие труд; куда большей похвалы был бы достоин изобретатель «самых быстрых и эффективных методов восстановления порочной части человечества в добродетели и счастье и удаления из мира некоторой доли порока»[256]. Наконец, англосаксонские модели, подобно проектам законодателей и теоретиков, предполагают методы

индивидуализации наказания: срок, вид, интенсивность, способ исполнения наказания должны соответствовать характеру индивида и исходящей от него опасности для других. Система наказаний должна быть открыта для индивидуальных переменных. В своих общих чертах модели, более или менее вдохновленные амстердамским Распхёйсом, не противоречили проектам реформаторов. На первый взгляд может даже показаться, будто они были лишь их развитием – или эскизом – на уровне конкретных учреждений.

И все же при определении техники индивидуализирующего исправления возникает весьма очевидное различие. Различие в процедуре подхода к индивиду, в способе, каким карательная власть берет его под контроль, в орудиях, какие она использует для осуществления преобразования, различие – в технологии наказания, а не в его теоретическом обосновании, в отношении, которое оно устанавливает между телом и душой, а не в способе, каким оно встраивается в правовую систему.

Возьмем метод реформаторов. Какова точка приложения наказания, захвата контроля над индивидом? – Представления: представления о его интересах, о преимуществах и невыгодах, удовольствии и неудовольствии; и если наказание захватывает тело, применяет к нему техники, мало отличающиеся от пытки, то в той мере, в какой оно является – для осужденного и для зрителей – объектом представления. Каким инструментом воздействуют на представления? – Другими представлениями или, скорее, ассоциациями идей (преступление – наказание, воображаемая выгода от преступления – невыгода от наказаний); эти пары действуют лишь как элемент публичности: сцены наказания, устанавливающие или укрепляющие их в глазах всех, дискурс, который распространяет, каждый момент вводит в обращение игру знаков. Роль преступника в наказании заключается в том, чтобы вновь вводить наряду с кодексом и преступлениями реальное присутствие означаемого, иными словами наказания, которое в соответствии с задачами кодекса должно безошибочно связываться с правонарушением. Избыточное и зримое производство этого означаемого, а значит, реактивация означаемой системы кодекса, идеи преступления, служащего знаком наказания, – вот какой монетой правонарушитель выплачивает свой долг обществу. Индивидуальное исправление должно, следовательно, обеспечивать перекалфикацию индивида в субъекта права путем укрепления систем знаков и распространяемых ими представлений.

Аппарат исправительного наказания действует совершенно иначе. Точка приложения наказания здесь – не представление, а тело, время, обычные жесты и деятельности, а также душа, но лишь как вместительница привычек. Тело и душа как принципы поведения образуют элемент, который отныне подлежит карательному вмешательству. Не как искусству представлений, а как обдуманному манипулированию индивидом: «Всякое преступление излечивается благодаря физическому и моральному воздействию»; следовательно, для выбора наказаний необходимо «знать принцип ощущений и симпатий, имеющих место в нервной системе»[257]. Что касается используемых инструментов, то это уже не игра представлений, но применяемые на практике и повторяемые формы и схемы принуждения. Упражнения, не знаки: расписание, организация времени, обязательные движения, регулярная деятельность, раздумье в одиночестве, работа сообща, молчание, прилежание, уважение, хорошие привычки. И наконец, посредством техники исправления стремятся восстановить не столько правового субъекта, захваченного фундаментальными интересами

социального договора, сколько покорного субъекта, индивида, подчиненного привычкам, правилам, приказам, власти, которая постоянно отправляется вокруг него и над ним и которой он должен позволить автоматически действовать в себе самом. Имеется, следовательно, два совершенно различных способа реакции на правонарушение: можно или восстанавливать юридического субъекта общественного договора, или формировать покорного субъекта согласно общей и детализированной форме власти.

Несомненно, все их различие было бы разве что умозрительным – поскольку в обоих случаях речь идет, по существу, о формировании послушных субъектов, – если бы наказание как «принуждение» не влекло за собой несколько важных последствий. Дрессировка посредством детально расписанного времени, приобретение привычек и принуждение тела подразумевают совершенно особое отношение между тем, кого наказывают, и тем, кто наказывает. Отношение, не просто делающее зрелищное измерение ненужным, но исключающее его[258]. Наказывающий должен иметь тотальную власть, которую не может нарушить третья сторона; исправляемый должен быть полностью захвачен отправляемой над ним властью. Обязательная тайна. И отсюда автономия, по крайней мере относительная, этой техники наказания: она должна обладать собственным действием, собственными правилами, собственными методами, собственным знанием; она должна устанавливать свои нормы, определять свои результаты. Здесь разрыв, во всяком случае различие, между властью наказывать и судебной властью, объявляющей виновного и устанавливающей общие границы наказания. Два этих следствия – тайна и автономия в отправлении карательной власти – неприемлемы для теории и политики наказания, имеющей в виду две цели: обеспечить участие всех граждан в наказании общественного врага и сделать отправление власти наказывать адекватным и прозрачным относительно законов, публично устанавливающих ее пределы. Тайные наказания и наказания, не предусмотренные законодательством; власть наказывать, отправляемая во мраке в соответствии с критериями, ускользающими от контроля, и с помощью таких же инструментов, – и в результате вся стратегия реформы рискует быть скомпрометирована. После вынесения приговора образуется власть, напоминающая ту, что действовала в прежней системе. Власть, осуществляющая наказания, грозит быть такой же самочинной, такой же деспотичной, как та, что некогда их устанавливала.

Коротко говоря, различие таково: карательный город или принудительное заведение? С одной стороны, функционирование власти наказывать, распределенной по всему пространству общества; присутствующей повсюду как сцена, зрелище, знак, дискурс; удобочитаемой, как открытая книга; действующей путем постоянного перекодирования сознания граждан; обеспечивающей подавление преступления благодаря препятствиям, поставленным перед мыслью о преступлении; воздействующей невидимо и ненавязчиво на «мягкие волокна мозга», как сказал Серван. Власть наказывать, которая распространяется по всему протяжению общественной сети, действует в каждой ее точке и в конечном счете воспринимается уже не как власть одних индивидов над другими, а как непосредственная реакция всех на каждого. С другой стороны, компактное функционирование власти наказывать: принятие ею на себя полной ответственности за тело и время виновного, управление его жестами и поведением посредством системы власти и знания; согласованная ортопедия, применяемая к виновным для индивидуального исправления; автономное отправление этой власти, отделенное как от тела общества, так и от судебной

власти в строгом смысле слова. За возникновением тюрьмы стоит институционализация власти наказывать или, точнее, вопрос: в каком случае власть наказывать (с ее принятой в конце XVIII столетия стратегической целью, состоящей в снижении числа народных противозаконностей) отправляется более оптимально – когда скрывается за общей социальной функцией, в «карательном городе», или когда облекается в форму принудительного института, действует в замкнутом пространстве «реформатория»?

Как бы то ни было, можно сказать, что в конце XVIII века наличествуют три способа организации власти наказывать. Первый – тот, что еще сохраняется и основывается на старом монархическом праве. Два других зиждутся на превентивном, утилитарном и исправительном понимании права наказывать, принадлежащего всему обществу; но они весьма отличаются друг от друга на уровне предусматриваемых ими механизмов. Вообще говоря, в монархическом праве наказание – церемониал власти суверена; в нем используются ритуальные метки мщенья, наносимые на тело осужденного, и он развертывает перед глазами зрителей ужасное действие, которое тем ужаснее, чем более прерывисто, нерегулярно всегда возвышающееся над собственными законами физическое присутствие монарха и его власти. Юристы-реформаторы, со своей стороны, рассматривают наказание как процедуру нового определения индивидов как субъектов, как правовых субъектов; в этой процедуре используются не метки, а знаки, кодированные совокупности представлений и образов, наиболее быстрое распространение и как можно более универсальное принятие которых обеспечивает сцена наказания. Наконец, в создававшемся тогда проекте института тюрьмы наказание – техника принуждения индивидов; она использует не знаки, а методы муштры тел, оставляющей в поведении следы в виде привычек; и она подразумевает установление особой власти для управления наказанием. Суверен и его сила, тело общества, административный аппарат. Метка, знак, след. Церемония, представление, отправление. Победенный враг, правовой субъект в процессе нового определения, индивид, подвергаемый непосредственному принуждению. Пытаемое тело, душа и ее манипулируемые представления, муштруемое тело. Вот три ряда элементов, характеризующих три механизма, которые сталкиваются друг с другом во второй половине XVIII века. Их нельзя ни свести к теориям права (хотя они частично совпадают с такими теориями), ни отождествить с аппаратами или институтами (хотя они опираются на них), ни вывести из морального выбора (хотя они находят свое обоснование в морали). Это модальности, согласно которым отправляется власть наказывать. Три технологии власти.

Стало быть, проблема состоит в следующем: как произошло, что именно третья технология была в конечном счете принята? Как принудительная, телесная, обособленная и тайная модель власти наказывать сменила репрезентативную, сценическую, означающую, публичную, коллективную модель? Почему физическое отправление наказания (не пытка) заменило – вместе с тюрьмой, служащей его институциональной опорой, – социальную игру знаков наказания и распространяющее их многословное празднество?

Версия #1

Зверобой создал 26 мая 2025 14:03:16

Зверобой обновил 26 мая 2025 14:04:26